

Азбука
PREMIUM

К Н И Г И
ДАФНЫ ДЮМОРЬЕ
в серии
«Азбука Premium»:

ПТИЦЫ
и другие истории

СИНИЕ ЛИНЗЫ
и другие рассказы

РАНДЕВУ
и другие рассказы

БЕРЕГА.
Роман о семействе Дюморье

Трактир «Ямайка»

Моя кузина Рейчел

Голодная гора

Богема

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

Богема



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
Д 96

Daphne du Maurier
THE PARASITES

Copyright © Daphne du Maurier, 1949
All rights reserved

This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK
and The Van Lear Agency LLC

Перевод с английского Николая Тихонова
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Ильи Кучмы

ISBN 978-5-389-10711-3

© Н. Тихонов (наследник), перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

Для тех, кому шапка впору.

Менабилли.

Весна, 1949

ПАРАЗИТЫ

Зоопаразиты — беспозвоночные животные, которые обитают в организме или на теле других животных.

В широком биологическом смысле паразитизм представляет собой отрицательную реакцию на борьбу за существование и всегда предполагает способ жизни, максимально близкий к линии наименьшего сопротивления...

Следует различать эпизодических и постоянных паразитов.

К первым относятся клопы и пиявки, которые, насытившись, обычно покидают своих хозяев. На эмбриональной стадии, до достижения полной зрелости, они ведут мигрирующий образ жизни, перемещаясь от хозяина к хозяину, после чего могут начать самостоятельное существование...

К последним относятся рыбные вши, которые, благодаря особому устройству полости рта и сложному аппарату сцепления, навсегда остаются в организме одного и того же хозяина; они принадлежат к числу наиболее выродившихся из всех известных паразитов.

Питаясь живыми тканями или клетками своих хозяев, паразиты оказывают на них воздействие различной степени тяжести — от незначительных локальных повреждений до полного уничтожения.

Британская энциклопедия

Глава первая

Паразитами нас назвал Чарльз. В его устах это обвинение прозвучало как гром с ясного неба и показалось тем более странным и неожиданным, оттого что он из тех спокойных, сдержанных людей, которые не отличаются излишней словоохотливостью и даже собственное мнение высказывают лишь по поводу самых обыденных вещей. Он заявил это под вечер бесконечно длинного, промозглого воскресенья, когда мы, зевая и потягиваясь, читали у камина газеты. Его слова произвели на нас впечатление разорвавшейся бомбы. Мы сидели в длинной, низкой комнате в Фартингзе, где из-за мелкого моросящего дождя было темней, чем обычно. Французские окна с мелкими переплетами почти не пропускали света; возможно, они и украшают фасад, но изнутри напоминают тюремную решетку и навевают уныние.

В углу медленно и неровно тикали высокие напольные часы: время от времени они издавали легкое покашливание, словно старик-астматик, затем со спокойной настойчивостью продолжали свой ход. Огонь в камине почти угас, смесь угля и кокса запеклась в плотный ком и не давала тепла; несколько небрежно брошенных поленьев едва тлели, и только мехи могли вдохнуть в них жизнь. На полу валялись газеты, картонные конверты от пластинок и подушка с дивана. Возможно, все это еще больше усилило раздражение Чарльза. Он любил порядок, отличался методическим складом ума, и теперь,

оглядываясь назад и понимая, чем были заняты в то время его мысли, помня, что он уже осознал необходимость принять какое-то решение относительно будущего, нетрудно догадаться, что все эти мелочи — беспорядок в комнате, атмосфера беспечности и легкомыслия, царившая в доме, когда Мария приезжала на выходные, атмосфера, которую он терпел столько лет, — послужили последней каплей, переполнившей чашу.

Мария, как всегда, лежала, растянувшись на диване. Ее глаза были закрыты — обычная форма защиты от нападок; тот, кто ее не знал, подумал бы, что она устала после долгой недели в Лондоне, нуждается в отдыхе и спит.

Ее правая рука с кольцом Найэла на среднем пальце утомленно свисала вниз, и кончики ногтей касались пола. Должно быть, Чарльз видел это из своего глубокого кресла напротив дивана; он знал это кольцо столько же, сколько саму Марию, постоянно видел его на ней и относился к нему прежде всего как к любой другой вещи, скажем гребню или браслету, с которыми Мария не расставалась чуть ли не с детства скорее по привычке, чем из-за воспоминаний. Но сейчас вид этого бледного аквамарина в оправе, плотно обхватившей ее палец, убогого по сравнению с сапфировым обручальным кольцом, которое подарил ей он, Чарльз, не говоря о венчальном кольце — и то и другое она постоянно забывала на раковине в ванной комнате, — мог подлить масла в огонь. Помимо всего прочего, он знал, что Мария не спит. Пьеса, которую она читала, валялась на полу; страницы рукописи были измяты, одну из них погрыз щенок, на обложке виднелось грязное пятно, оставленное кем-то из детей. Через неделю пьесу вернут автору с запиской, которую Мария, как обычно, настукает на машинке, купленной по дешевке на распродаже бог знает когда. «Сколь ни пришлась мне по душе Ваша пьеса, которую я нахожу чрезвычайно интересной и которую, по моему глубокому убеждению, ожидает большой

успех, мне кажется, что я не вполне соответствую Вашему представлению об образе Риты...», и при всем своем разочаровании польщенный автор скажет друзьям: «Право же, она ей чрезвычайно понравилась» — и станет впредь думать о Марии с признательностью и едва ли не с любовью.

Но теперь никому не нужная, забытая рукопись валялась на полу вместе с воскресными газетами, и вряд ли Чарльз мог ответить на вопрос: а помнит ли о ней Мария, лежа на диване с закрытыми глазами? Нет, на этот вопрос ответа у него не было, как и на другие: о чем она думает, о чем мечтает? Да и понимал ли он, что улыбка, коснувшаяся уголков ее рта и мгновенно растаявшая, не имела никакого отношения ни к нему, ни к его чувствам, ни ко всей их жизни. Она была отстраненной, нездешней, как улыбка той, которую он никогда не знал. Той, которую знал Найэл. Найэл, согнувшись, сидел на подоконнике. Он положил подбородок на колени и смотрел в пустоту, но он уловил эту улыбку и догадался, что она означает.

— Черное вечернее платье, — произнес он словно безо всякой причины, — облегающее, подчеркивающее все прелести фигуры. Разве подобные детали не характеризуют человека? Ты дочитала до шестой страницы? Я — нет.

— До четвертой, — ответила Мария. Она по-прежнему не открывала глаз, и голос ее звучал словно из потустороннего мира. — Платье медленно скользит вниз и обнажает белые плечи. Ах, оставь. По-моему, это маленький человечек в пенсне, узкоплечий и с изрядным количеством золотых зубов.

— И любящий детей, — добавил Найэл.

— Одевается Санта-Клаусом, — продолжала Мария. — Но дети не поддаются на обман, потому что он забывает подогнуть брюки и они видны из-под его красной шубы.

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

— Прошлым летом он отправился на отдых во Францию.

— И там его осенила идея. В отеле в дальнем конце столовой он увидел одну женщину. Разумеется, ничего не произошло. Но он не мог отвести глаз от ее бюста.

— Однако, поняв, что это не соответствует его системе взглядов, почувствовал себя лучше.

— Он — да, но отнюдь не собака. Сегодня пса стошнило под кедром. Бедняга съел девятую страницу.

Легкое движение в кресле — Чарльз изменил позу и расправил страницы спортивного обозрения «Санди таймс» — могло бы предупредить их, что он раздражен, но ни Мария, ни Найэл не обратили на это внимания.

Только Селия — она всегда интуитивно чувствовала приближение бури — подняла голову от корзинки с рукоделием и бросила на нас предостерегающий взгляд; он остался без внимания. Будь мы только вдвоем, она присоединилась бы к нам — в силу привычки или чтобы доставить себе удовольствие; ведь так было всегда, со времен нашего детства, с самого начала. Но она была гостьей, редким посетителем, гостьей в доме Чарльза. Селия инстинктивно чувствовала, что Чарльзу неприятен шуточный тон Найэла и Марии: он не только не разделял его, но и не понимал; выщучивание автора, чья пьеса с дурацким сюжетом валялась на полу, к тому же разорванная щенком, вызывало у него раздражение. Все это казалось ему довольно дешевым и отнюдь не смешным.

Еще мгновение, подумала Селия, видя, как Найэл распрямился, и он, зевая и хмурясь, подойдет к роялю, бросит сосредоточенный и вместе с тем ничего не выражающий взгляд на клавиатуру: ведь он думает — впрочем, о чем он думает? — возможно, вообще ни о чем, хотя, быть может... о близком ужине или о том, что где-то в спальне завалилась пачка сигарет, — и начнет играть, сперва тихо, почти беззвучно, и будет напевать под соб-

ственный аккомпанемент — ведь это его привычка лет с двенадцати, когда он играл на старом французском пианино, — а Мария, так и не открывая глаз, выпрямится на диване, заложит руки за голову и чуть слышно подпоет мелодии, которую наигрывает Найэл. Мелодия, да, мелодия: сперва поведет ее он — Мария пойдет за ним. Но вот она нарушает мелодическую линию, и голос ее изливается в иной песенной тональности, в иной мелодии. И Найэл подхватит мелодическую основу и в прозрачно прекрасной мелодии сольется с той, которая поет под его аккомпанемент.

Селия подумала, что надо тем или иным способом остановить Найэла и, как бы неуклюже это ни выглядело, не дать ему подойти к роялю. Не потому, что Чарльзу не понравится его музыка, а потому, что порыв брата послужит еще одним неуместным подтверждением того, что ни муж, ни сестра, ни дети, а только он, Найэл, знает и понимает малейшие движения наглухо закрытой для остальных души Марии. А ведь именно это с каждым годом все сильнее мучило Чарльза.

Селия отложила рабочую корзинку — по выходным она обычно занималась в Фартингзе штопаньем детских носков, бедняжке Полли одной с этим делом было не справиться, а просить Марию никому и в голову не приходило — и поспешно, прежде чем Найэл сел за рояль (он уже открывал клавиатуру), обратилась к Чарльзу:

— Едва ли кто-нибудь из нас в последнее время занимался акростихами. Бывали дни, когда мы с головой зарывались в словари, энциклопедии и прочие книги. Каким словом мы займемся сегодня, Чарльз?

После непродолжительной паузы Чарльз ответил:

— Я имею в виду вовсе не акростих. В кроссворде мое внимание привлекло слово из семи букв.

— И что же это такое?

— Беспозвоночное животное, живущее за счет другого животного.

Найэл взял первый аккорд.

— Паразит, — сказал он.

И здесь грянул гром. Чарльз бросил газету на пол и встал с кресла. Его лицо побледнело, каждый мускул напрягся, а рот превратился в тонкую, жесткую линию. Раньше мы никогда его таким не видели.

— Совершенно верно, — сказал он, — паразит. И это вы, вы, все трое. Вся компания. Всегда ими были и всегда будете. Вас ничто не изменит, не может изменить. Вы вдвойне, втройне паразиты: во-первых, потому, что с самого детства спекулируете на той крупнице таланта, которую вам посчастливилось унаследовать от ваших фантазеров-родителей; во-вторых, потому, что ни один из вас ни разу в жизни не удосужился заняться пусть незаметным, но честным трудом; и, в-третьих, потому, что вся ваша троица живет за счет друг друга и обитает в мире грез и фантазий, который вы сами для себя сотворили и который не имеет ничего общего ни с земной реальностью, ни с небесной.

Чарльз стоял, пристально глядя на нас с высоты своего роста. Ни один из нас не проронил ни звука. То были мучительные, тягостные мгновения, чему уж тут смеяться. Обвинение носило слишком личный характер. Мария открыла глаза, снова откинулась на подушку и смотрела на Чарльза с каким-то непонятным смущением, словно ребенок, которого поймали на озорстве и он не знает, какое наказание за этим последует. Найэл застыл у рояля, вперив взгляд в пустоту. Селия опустила руки на колени и покорно ожидала следующего удара. Как она жалела, что сняла очки и отложила их вместе с рабочей корзинкой — без них она чувствовала себя раздетой. Они всегда служили ей своеобразным орудием защиты.

— Что ты имеешь в виду? — спросила Мария. — Как это мы обитаем в мире грез и фантазий?

В ее голосе прозвучало недоумение — его обладательнице очень подошло бы невинное личико с широко открытыми изумленными глазами. Найэл и Селия мгновенно узнали это выражение. Не исключено, что узнал его и Чарльз, ведь после стольких лет совместной жизни, возможно, он уже не поддавался на обман.

Словно прожорливая рыба, он с радостью заглотил наживку.

— Только там ты всегда и обитала, — ответил Чарльз, — да и вообще ты не личность, не женщина, обладающая собственной, присущей только тебе индивидуальностью; ты смешение всех персонажей, которых тебе доводилось когда-либо играть на сцене. Твои мысли и чувства меняются с каждой новой ролью. Такой женщины, как Мария, не существует, никогда не существовало. Об этом знают даже твои дети. Вот почему ты их очаровываешь только на два дня, а потом они бегут в детскую к Полли: ведь Полли настоящая, подлинная, живая.

Есть вещи, подумала Селия, которые мужчина и женщина говорят друг другу только в спальне. Но не в гостиной, не в воскресенье вечером. О Мария, пожалуйста, не отвечай ему, не распаляй его гнев, который накапливался месяцы, годы... Ведь теперь ясно, как он несчастлив, несчастлив давно, о чем мы даже не догадывались или чего просто не понимали... И она ринулась в битву. Она должна защитить Найэла и Марию. Она всегда так делала.

— Я очень хорошо понимаю, Чарльз, что вы имеете в виду, — сказала Селия. — Конечно, Мария меняется от роли к роли, но ей это было присуще и в детстве; она всегда была не только Марией, но кем-то еще. Однако несправедливо говорить, что она не работает. Кому, как не вам, это знать, ведь вы бывали, во всяком случае раньше, на ее репетициях — это ее жизнь, ее профессия, которой она отдает себя целиком. И вы должны это признать.

Чарльз рассмеялся, и по его смеху Мария поняла, что Селия не только не исправила, но еще больше осложнила положение.

Когда-то Мария умела совладать с этим смехом: она вскакивала с дивана, обнимала Чарльза за шею и говорила: «Не будь таким глупеньким, дорогой. Какая муха тебя укусила?» И увлекала его к хозяйственным постройкам, притворяясь, будто ее очень интересует какой-нибудь старый трактор, заком с зерном или черепица, упавшая с крыши флигеля, — все, что угодно, лишь бы не омрачать первые шаги их совместной жизни. Теперь положение изменилось, старые уловки ни к чему не приведут, и уж конечно, подумала Мария, в столь поздний час он не станет устраивать сцен ревности к Найэлу; это было бы глупо с его стороны, да к тому же и бессмысленно — пора бы ему знать, что Найэл как бы часть меня самой, так было всегда. Я никогда не позволяла этой части вмешиваться в мою личную жизнь, мою работу да и вообще ни во что. Она никогда не доставляла неприятности ни Чарльзу, ни другим, просто Найэл и я, я и Найэл... Затем ее мысли смешались в бессвязный клубок, и она вдруг чего-то испугалась, словно ребенок, попавший в темную комнату.

— Работа? — переспросил Чарльз. — Называйте это работой, если вам так нравится. Работа цирковой собачки, которую щенком приучили прыгать за подачку и которая автоматически прыгает до конца дней своих, сто́ит под куполом зажечься огням, а публике начать аплодировать.

Как жаль, что Чарльз никогда раньше так не говорил, подумал Найэл. Мы могли бы стать друзьями. Я отлично понимаю его. В подобном разговоре я бы с удовольствием принял участие эдак в половине пятого утра, когда все вокруг крепко под мухой, а я трезв как стеклышко, но сейчас в доме у Чарльза он представляется мне

крайне неуместным, даже ужасным, как будто священник, к которому испытываешь искреннее уважение, принялся стаскивать с себя брюки посреди церкви.

— Но людям доставляет удовольствие смотреть на эту собачку, — быстро проговорил он, желая отвлечь Чарльза от скользкой темы. — Они для того и ходят в цирк, чтобы развеяться. Мария предлагает им тот же наркотик в театре, а я — и в немалых дозах — всем мальчишкам-рассыльным, которые насвистывают мои мелодии. По-моему, вы употребили не то слово. Мы лоточники, мелкие торговцы, а не паразиты.

Из противоположного конца комнаты Чарльз посмотрел на сидящего у рояля Найэла. Вот оно, ребята, подумал Найэл, вот то, чего я ждал всю жизнь, сокрушительный удар ниже пояса; как трагично, что нанесет его старина Чарльз.

— Вы?..

Какое нескрываемое презрение, какая горькая затаенная ревность в его голосе.

— Так кто же я? — спросил Найэл, и подобно тому, как фасад дома теряет свою прелесть, когда закрываются ставни, так и его выразительное лицо, утратив озарявший его внутренний свет, превратилось в безжизненную маску.

— Вы шут гороховый, — ответил Чарльз, — и у вас хватит ума понять это, что, должно быть, крайне неприятно.

О нет... нет... подумала Селия, чем дальше, тем хуже, и почему именно сегодня? Это моя вина — зачем я спросила про акrostих. Надо было предложить перед чаем прогуляться по парку или сходить в лес.

Мария поднялась с дивана и подбросила в камин большое полено. Она размышляла о том, как лучше поступить: придумать какую-нибудь дурацкую шутку или броситься за экран и устроить сцену со слезами, чтобы разрядить атмосферу и отвлечь внимание на себя, —

испытанный еще во времена их детства прием, всегда достигавший цели, когда у Найэла были неприятности с Мамой, Папой или старой Трудой. Или выскочить из дому, уехать на машине в Лондон и забыть об этом злополучном воскресеньи? А забудет она скоро. Она все забывала, ничто надолго не задерживалось в ее памяти. Но Найэл спас положение сам. Он опустил крышку рояля, подошел к окну и остановился, глядя на деревья в дальнем конце лужайки.

За окном было тихо и спокойно, как всегда в те короткие мгновения, что предшествуют приходу темноты на склоне недолгого зимнего дня. Дождь прекратился, но теперь это было не важно. На опушке леса группы деревьев казались особенно прекрасными и уныло-одиночными, а голая ветка старой высохшей ели, словно чья-то изогнутая рука, в причудливом движении вздымалась к небу. Мокрый скворец искал червей в сырой траве. Эту картину Найэл знал и любил; он всегда любовался ею, когда ему случалось бывать здесь одному, и непременно запечатлел бы ее на бумаге, умеи он рисовать, перенес бы на холст, обладай он даром живописца, отобразил бы в переплетениях музыкальной ткани, если бы звуки, изо дня в день рождавшиеся у него в голове, выливались в симфонию. Но этого не происходило. Звуки сливались в брэнчание, в расхожие мелодии, которые мальчишски-рассыльные насвистывали на перекрестках да молоденькие смешливые продавщицы напевали в магазинах, — жалкий дешевый вздор, который забывался через неделю-другую, вот и вся его слава. Нет, он не обладал истинным дарованием — лишь крупницей унаследованного таланта, которая позволяла ему сплетать мелодию за мелодией, без усилий, даже без особой к тому склонности, и заработать состояние, к чему он отнюдь не стремился.

— Вы правы, — сказал он Чарльзу, — целиком и полностью правы. Я шут гороховый.

Какое-то мгновение он стоял, занятый своими, одному ему ведомыми мыслями, как в те далекие годы детства, в парижском отеле, когда Мама не обращала на него внимания и он, маленький мальчик, делал вид, что ему это безразлично, подбегал к окну, смотрел на улицу и плевал на головы прохожих. Затем выражение его лица изменилось, он запустил пальцы в волосы и улыбнулся.

— Вы победили, Чарльз, — сказал он, — паразиты повержены. Но если я хоть немного помню биологию, те, за чей счет они живут, в конце концов тоже умирают.

Найэл снова подошел к роялю и сел на стул.

— Впрочем, не важно, — заметил он. — Вы подали мне идею еще одной пустячной песенки. — И, по-прежнему улыбаясь Чарльзу, взял свой любимый аккорд в своей любимой тональности.

Так давайте же питаться
Мы друг другом натошак¹, —

запел он вполголоса, и чувственный танцевальный ритм глупой песенки ворвался в зловещую атмосферу темной гостиной подобно внезапному взрыву детского смеха.

Чарльз резко повернулся и вышел из комнаты.

И мы остались втроем.

¹ Перевод Е. З. Фрадкиной.

Глава вторая

Люди всегда судачили о нас, даже когда мы были детьми. Куда бы мы ни поехали, везде мы вызывали странную враждебность окружающих. Во время Первой мировой войны и сразу после нее другие дети отличались вежливостью и хорошими манерами; мы же демонстрировали отсутствие всякого воспитания и полную необузданность. Эти ужасные Делейни... Марию не любили за то, что она копировала всех и каждого, и не всегда исподтишка. Она обладала необыкновенным даром преувеличивать малейшие недостатки или характерные особенности того или иного человека: поворот головы, пожатие плеч, интонацию голоса; и несчастная жертва всегда знала об этом, знала, что взгляд больших синих глаз Марии, с виду таких невинных и мечтательных, на самом деле сулит какую-нибудь дьявольскую каверзу.

Найэл пользовался меньшей неприязнью: отношение к нему зависело от того, что он говорил, но главное — о чем умалчивал. Молчание этого застенчивого, неразговорчивого ребенка с печальным славянским лицом было исполнено значения. Встречая его в первый раз, взрослый чувствовал, что подвергается внимательному изучению, оценке и безоговорочному сбрасыванию со счетов. В справедливости этой догадки его убеждали взгляды, которыми Найэл обменивался с Марией, и чуть позже до его слуха долетали язвительные смешки.

Селию как-то терпели, — к счастью для себя, она унаследовала все обаяние обоих родителей и ни одного их

недостатка. У нее было большое, щедрое сердце Папы без его эмоциональной несдержанности и изящные манеры Мамы без ее разрушительной силы. Наследственным достоинством был и ее талант в рисовании, который позднее развился в полной мере. Ее зарисовки никогда не напоминали карикатуры — что непременно случилось бы с Марией, умея она рисовать; их чистоту никогда не портила горечь, которую непременно привнес бы в свои работы Найэл. Ее недостатком был общий недостаток всех маленьких детей — склонность к слезам, к нытью, страсть забираться взрослым на колени и клянуть, а поскольку она не обладала ни грацией, ни красотой Марии и была упитанной, краснощекой девочкой с волосами мышиного цвета, тот, на чье внимание она претендовала, вскоре начинал ощущать раздражение; ему хотелось отогнать Селию, словно назойливую собачонку, однако, увидев в ее глазах слезы, он тут же раскаивался.

Нам слишком во многом потакали, и это всех шокировало. Нам позволяли есть самую изысканную пищу, пить вино, не ложиться спать допоздна, самостоятельно бродить по Лондону, Парижу и другим городам, в которых нам приходилось жить. С самого раннего возраста мы росли космополитами, с поверхностным знанием нескольких языков, ни на одном из которых так и не научились говорить как следует.

Родственные узы, связывавшие нас, были весьма запутанны, разобраться в них так никто и не смог, что едва ли удивительно. Поговаривали, что мы незаконнорожденные, что мы приемыши, что мы маленькие скелеты из шкафов наших Папы и Мамы, — возможно, в этом и была доля истины, — что мы беспризорники, что мы сироты, что мы королевские отпрыски. Но почему у Марии были синие глаза и светлые волосы Папы и тем не менее в движениях ее была легкая грация, которой он не отличался? И почему Найэл был темноволос, гибок и невысок, с такой же, как у Мамы, светлой кожей, и тем

не менее его выдающиеся скулы не напоминали никого из близких? И почему Селия иногда вытягивала губы, как Мария, и делалась мрачной, как Найэл, если их не связывало никакое родство?

Когда мы были маленькими, мы тоже ломали голову надо всем этим и приставали к взрослым с вопросами; затем забывали о наших сомнениях: в конце концов, думали мы, так ли это важно — ведь с самого начала мы никого другого не помнили; Папа был нашим отцом, а Мама нашей матерью, и мы все трое принадлежали им.

Правда так проста, когда ее узнаешь и поймешь.

Когда перед Первой мировой войной Папа пел в Вене, он влюбился в одну маленькую венскую актрису; у нее совсем не было голоса, но поскольку она была капризна, хороша собой и все ее обожали, то ей дали произнести одну фразу во втором акте какой-то оперетки. Возможно, Папа и женился на ней; нас это не волновало и даже не интересовало. Но после того, как они год прожили вместе, родилась Мария, а маленькая венская актриса умерла.

Тем временем Мама танцевала в Лондоне и Париже. Она уже порвала с балетом, в традициях которого была воспитана, и превратилась в единственную в своем роде, незабываемую танцовщицу. В какой бы город она ни приезжала, ее появление заставляло публику до отказа заполнять театральные залы. Каждое движение Мамы было сама поэзия, каждый жест — воплощенная музыка: на освещенной слабым призрачным светом сцене у нее не было партнера, она всегда танцевала одна. Но кто-то ведь был отцом Найэла? Пианист, объясняла старая Труда, которому Мама однажды позволила тайком прожить с ней несколько недель и любить ее, а потом отослала прочь: кто-то сказал ей, что у него туберкулез, а эта болезнь заразна.

«Но туберкулезом она вовсе и не заразилась, — сухо и как бы неодобрительно сообщила нам Труда. — Вме-

сто этого у нее появился мой мальчик, за что она так никогда его и не простила».

«Моим мальчиком» был, разумеется, Найэл, и Труда как Мамина костюмерша сразу взяла его на свое попечение. Она его мыла, одевала, пеленала, кормила из рожка, иными словами, делала для него все то, что должна была бы делать Мама; а Мама тем временем танцевала одна, без партнера, она улыбалась своей таинственной, единственной в своем роде улыбкой, давно забыв о пианисте, который исчез из ее жизни так же внезапно, как появился, и ее нисколько не интересовало и не тревожило, умер он от туберкулеза или нет.

А потом они встретились в Лондоне — Папа и Мама, — когда Папа пел в «Альберт-Холле», а Мама танцевала в «Ковент-Гардене». Их встреча была экстазом и бурей: такое, сказала Труда, могло случиться только с этими двумя, больше ни с кем; и в ее глухом голосе неожиданно прозвучала поразительная многозначительность, словно она хотела показать, насколько глубоко понимает важность этого события. Они тут же влюбились друг в друга, поженились, и супружество принесло им обоим несказанное счастье, хотя порой, возможно, доводило до отчаяния (никто не вдавался в этот вопрос), принесло оно им и Селию — первого для обоих законного отпрыска.

Вот так мы трое оказались и родственниками, и не родственниками. Одна сводная сестра, один сводный брат и одна единокровная сестра обоим; трудно придумать такую мешанину, даже если очень постараться. И примерно по году разницы между нами, потому мы все и помнили только ту жизнь, которую прожили вместе.

«Не видать от этого добра», — порой сетовала Труда в гостиную одного из многочисленных грязных отелей, которой временно предстояло служить нам детской и классной, или в меблированных комнатах на верхнем

этаже какого-нибудь обшарпанного здания, которые Папа и Мама сняли на время сезона или турне. «Не видать добра от этой смеси пород и кровей. Вы вредны друг другу, и так будет всегда. Или вы сами погубите друг друга, — говорила она, когда мы особенно капризничали и озорничали, — или вас кто-нибудь угробит». После чего переходила к пословицам и изречениям, которые были лишены всякого смысла, но звучали довольно жутко. Вроде вот этих: «Яблоко от яблони недалеко падает», «Свой свояка видит издалека», «Только кошке игрушки, а мышке слезки». Труда ничего не могла поделать с Марией. Мария постоянно подначивала ее. «Ты старшая, — говорила ей Труда. — Почему бы тебе не подать пример?» Мария тут же передразнивала ее: пальцами растягивала уголки губ, отчего ее рот становился похож на тонкий рот Труды, выпячивала подбородок и выставляла правое плечо немного вперед.

«Я расскажу о тебе Папе», — обещала Труда, а потом целый день ворчала, издавала глухие стоны и что-то бубнила себе под нос. Но когда Папа приходил нас проведать, помалкивала, и его приход встречала буря восторга и дурачеств; затем нас брали в гостиную, где мы скакали, кувыркались на полу и изображали диких медведей, к немалому унынию посетителей, пришедших поглазеть на Маму.

Но худшее, разумеется не для нас, а для посетителей, было впереди. Если мы останавливались в отеле, Папа разрешал нам носиться по коридорам, стучаться в двери, менять местами выставленную из комнат обувь постояльцев, нажимать кнопки звонков, подсматривать сквозь балюстраду и строить рожи. Жаловаться было бесполезно. Ни один управляющий не решился бы потерять покровительство Папы и Мамы, ведь они одним своим присутствием поднимали престиж отеля или мебелированных комнат в любом городе, в любой стране. Теперь на афишах их имена, разумеется, стояли рядом, они участвовали в одной программе, и представление

делилось на две части. Порой они снимали театр на два или три месяца подряд, а то и на целый сезон.

«Вы слышали, как он поет?», «Вы видели, как она танцует?», и в каждом городе обсуждался вопрос о том, кто из них более великий артист, кто больший мастер, кто задает тон всему представлению.

Папин лакей Андре говорил, что Папа. Что Папа делал все. Папа обговаривал каждую деталь, вплоть до того, когда давать занавес, определял, из какой кулисы должна выйти Мама, как она будет выглядеть, что на ней будет надето. Труда, хранившая неизменную верность Маме и враждовавшая с Андре, заявляла, что Папа не имеет ко всему этому никакого отношения и лишь выполняет то, что ему приказывает Мама, что Мама — гений, а Папа всего-навсего блестящий дилетант. Кто из них был прав, мы, трое детей, так и не узнали, да нас это и не слишком интересовало. Зато мы знали, что Папа самый великий певец и что от сотворения Мира никто не двигался и не танцевал так, как Мама.

Все это весьма подхлестывало наше детское зазнайство. С младенчества слышали мы гром аплодисментов. Как маленькие пажы в королевской свите, переезжали из страны в страну. Воздух, которым мы дышали, был напоен лестью, успех дней прошлых и будущих кружил нам головы.

Спокойный, размеренный уклад детской жизни был нам неведом. Ведь если вчера мы были в Лондоне, то завтра последует Париж, послезавтра Рим.

Постоянно новые звуки, новые лица, суета, неразбериха; и в каждом городе источник и цель нашей жизни — театр. Иногда до чрезмерности пышный, сияющий золотом оперный театр, иногда убогий, грязноватый барак, но, каким бы он ни был, он всегда принадлежал нам то недолгое время, на которое его сняли, всегда другой, но неизменно знакомый и близкий. Этот запах театральной пыли и плесени... до сих пор он время от времени

преследует каждого из нас, Мария же никогда не избавится от него. Двустворчатая дверь с перекладиной посередине, холодный коридор; эти гулкие лестницы и спуск в бездну. Объявления на стенах, которые никто никогда не читает; крадущийся кот, который задирает хвост, мяукает и исчезает; ржавое пожарное ведро, куда все бросают окурки. На первый взгляд, все это одинаково, в любом городе, в любой стране. Висящие у входа афиши, напечатанные иногда черной, иногда красной краской, с именами Папы и Мама и фотографиями только Мамиными и никогда Папиными — оба разделяют это странное суеверие.

Мы всегда пребывали *en famille*¹ в двух машинах. Папа и Мама, мы трое, Труда, Андре, собаки, кошки, птицы, которые в то время пользовались нашим расположением, а также друзья или прихлебатели, пользовавшиеся, опять-таки временно, расположением наших родителей. Затем начинался шторм.

Делейни прибыли. Прощай, порядок. Да здравствует хаос.

С торжествующим кличем, как дикие индейцы, мы высыпали из машин. Антрепренер-иностранец, улыбающийся, подобострастный, с поклоном приветствовал нас, но в глазах его светился неподдельный ужас при виде животных, птиц и, главное, беснующихся детей.

— Добро пожаловать, месье, добро пожаловать, мадам, — начал он, дрожа нервной дрожью от вида клетки с попугаем и от внезапного взрыва хлопущки под самым своим носом; но не успел он продолжить традиционную приветственную речь, как его и без того съжившееся туловище растаяло, почти исчезло. Это Папа сокрушительно хлопнул его по плечу.

— А вот и мы, мой дорогой, вот и мы, — сказал Папа. Его шляпа съехала набок, пальто, как плащ, свисало

¹ Всей семьей (*фр.*).

с одного плеча. — Мы пышем здоровьем и силой, как древние греки. Осторожней с этим чемоданом. В нем гуркхский нож¹. У вас есть двор или загон, куда можно выпустить кроликов? Дети наотрез отказались расставаться с кроликами.

И антрепренер, затопленный нескончаемым потоком слов и смеха, льющихся из уст Папы, а возможно, и уstraшенный его ростом — шесть футов и четыре дюйма, — как выючное животное направился на прилегающий к театру двор, таща под мышками клетку с кроликами и кипу тростей, бит для гольфа и восточных ножей.

— Все предоставьте мне, мой дорогой, — радостно сказал Папа. — Вам ничего не придется делать. Все предоставьте мне. Но прежде о главном. Какую комнату вы намерены предложить мадам?

— Лучшую, месье Делейни, разумеется, лучшую, — ответил антрепренер, наступив на хвост щенку, и немного позднее, придя в себя и дав указания относительно размещения багажа и живности, повел нас вниз, в ближайшую к сцене гримуборную.

Но Мама и Труда уже освоились на новом месте. Они выносили в коридор зеркала, выдвигали за дверь туалетные столики, срывали портьеры.

— Я не могу этим пользоваться. Все это надо убрать, — объявила Мама.

— Конечно, дорогая. Все, что хочешь. Наш друг за всем присмотрит, — сказал Папа, оборачиваясь к антрепренеру и снова хлопая его по плечу. — Главное, чтобы тебе было удобно, дорогая.

Антрепренер заикался, извинялся, изворачивался, обещал Маме золотые горы. Она обратила на него взгляд своих холодных темных глаз и сказала:

— Полагаю, вы понимаете, что к завтрашнему утру у меня должно быть все? Я не могу репетировать, пока

¹ *Гуркхский нож* — нож особой формы, используемый жителями Непала.

ДАФНА ДЮМОРЬЕ

в моей уборной не будет голубых портьер. И никаких эмалированных кувшинов и тазов. Все должно быть фаянсовое.

— Да, мадам.

С упавшим сердцем слушал антрепренер перечень абсолютно необходимых предметов, а когда Мама подошла к концу, то в награду удостоила его улыбки — улыбки, которую редко можно было увидеть. Но если это случалось, то она сулила райское блаженство.

Мы слушали их разговор, сгорая от нетерпения, и, когда он закончился, с победным кличем бросились в коридор за сценой.

— Лови меня, Найэл! Не поймаешь, не поймаешь, — крикнула Мария и, миновав дверь на сцену и коридор перед зрительным залом, вбежала в темный партер. Прыгая через кресло, она порвала сиденье и, преследуемая Найэлом, стала бегать между рядами, срывая пыльные чехлы и бросая их на пол. Занавес был поднят, и беспомощный, лишившийся дара речи антрепренер стоял на сцене, одним глазом уставясь на нас, другим на Папу.

— Подождите меня, подождите, — просила Селия и, не слишком проворная по причине своей полноты и коротких ножек, как всегда, упала. За падением последовал крик, долетевший до гримуборной.

— Посмотрите, что с ребенком, Труда, — скорее всего сказала Мама, как всегда спокойная и невозмутимая, зная, что если на ребенка свалился большой театральный канделябр, то, значит, одним малышом меньше придется возить с собой, и, вывалив на пол содержимое очередного саквояжа, чтобы Труда разобрала его, после того как отыщет живую Селию либо ее труп, она направилась на сцену и вынесла о ней самое нелестное мнение, объявив, что она не подходит для человеческих существ, как уже было с гримуборной.

— Папа, Мама, посмотрите на меня, посмотрите на меня! — крикнула Мария.

Она стояла у первого ряда балкона, закинув ногу на барьер. Но Папа и Мама, занятые на сцене бурным разговором с несколькими мужчинами, исполнявшими обязанности плотников, электриков, помощников режиссера, не обратили ни малейшего внимания на грозящую ей опасность.

— Я вижу тебя, дорогая, вижу, — сказал Папа, продолжая разговор и даже не взглянув в сторону балкона.

Для первого штурма, пожалуй, хватит. Плотники были угрюмы, электрики вымотаны, антрепренер не скрывал отчаяния, уборщики богохульствовали. Делейни — ни то, ни другое, ни третье.

Разгоряченные, радостные, предвкушая изысканный ужин, мы отбыли из театра. И наше представление будет повторяться в любом отеле, в любых номерах, везде, где бы мы ни остановились.

В десять часов вечера, раздувшиеся после ужина из четырех блюд, съеденного бок о бок с Папой и Мамой в ресторане, где нас обслуживали дрожащие официанты, которые не выносили нас и любили наших родителей — особенно Папу, — мы все еще прыгали и кувыркались на кроватях. Кувшины с водой валяются на полу, простыни перемазаны кусками прихваченного из ресторана торта, и вот Мария — зачинщица всех проказ — предлагает Найэлу экспедицию по коридору — подсмотреть в замочную скважину, как раздеваются другие постояльцы.

В ночных рубашках мы осторожно двинулись по коридору. Мария со светлыми, вьющимися, короткими, как у мальчика, волосами, в рубашке, заправленной в полосатые пижамные брюки Найэла; Найэл плетется за ней в хлопающих по пяткам тапках Труды — свои он так и не нашел, и в арьергарде Селия волочет по полу набитую соломой обезьяну.

— Первая я, я это придумала, — сказала Мария.

Она оттолкнула Найэла от закрытой двери, опустилась на колени и прильнула глазом к замочной скважине. Найэл и Селия смотрели на нее как замороженные.

— Это старик, — прошептала Мария, — он снимает сорочку.

Но не успела она продолжить описание, как была сметена на пол Трудой, которая незаметно подкралась к нам.

— Нет, нет, мисс, — сказала Труда. — Может быть, в свое время вы и пойдете по этой дорожке, но не раньше, чем я перестану за вас отвечать.

И тяжелая рука Труды опустилась на восхитительные ягодицы Марии, а кулак Марии взметнулся к курносому недовольному лицу Труды. И нас, извивающихся, протестующих, приволокли обратно в кровати; мы растянулись на них и, утомленные долгим днем, заснули, как щенки. Нас приучили ценить тишину только по утрам. Папу и Маму нельзя беспокоить. Будь то на квартире, в отеле или в меблированных комнатах — утром мы разговаривали шепотом и ходили на цыпочках. По сей день мы не встаем рано. Мы лежим в постели, пока солнце не поднимется достаточно высоко. Детская привычка укоренилась в нас. Это было первое правило, которое мы не могли нарушать, второе было еще строже. Соблюдать тишину в театре во время репетиции. Никакой беготни по коридорам. Никакого прыганья в партере. Мы сидели, как немые, в каком-нибудь дальнем углу, чаще всего на первом ярусе или, когда дело было в Париже, в одной из лож бенуара.

Селия, единственная из нас любившая кукол и игрушки, сидела на полу с двумя или тремя из них и, следя за движениями на сцене, придавала им различные позы.

Медведь был Папой — широкогрудый, высокий, с рукой, прижатой к сердцу; молоденькая японская гейша с черными, завязанными узлом волосами, как у Мамы во время репетиции, кланялась, делала реверансы и стояла на одной ноге. Когда Селия уставала от этого занятия, она начинала играть в дом; кресла в ложе превраща-

Дюморье Д.

Д 96 Богема : роман / Дафна Дюморье ; пер. с англ. Н. Тихонова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 416 с. — (Азбука Premium).

ISBN 978-5-389-10711-3

Книги английской писательницы Дафны Дюморье (1907–1989) стали классикой литературы XX века. Мастер тонкого психологического портрета и виртуоз интриги, Дюморье, как никто другой, умеет держать читателя в напряжении. Недаром одним из почитателей ее таланта был кинорежиссер Альфред Хичкок, снявший по ее произведениям знаменитые кинотриллеры, среди которых «Ребекка», «Птицы», «Трактир „Ямайка“»... В романе «Богема» (1949; ранее на русском языке роман выходил под названием «Паразиты») она рассказывает о жизни артистической богемы Англии между двумя мировыми войнами. Герои Дафны Дюморье — две сводные сестры и брат. Они выросли в семье знаменитых артистов — оперного певца и танцовщицы. От своих родителей молодые Делейни унаследуют искру таланта и посвятят себя искусству, но для каждого из них творчество станет способом укрыться от проблем и страстей настоящей жизни.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

ДАФНА ДЮМОРЬЕ
БОГЕМА

Ответственный редактор Алла Степанова
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Светланы Шведовой
Корректоры Наталья Бобкова, Нина Тюрина
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 15.02.2017. Формат издания 84 × 108^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 21,84. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



AAUM1874001R